



# НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ



Юрий ЗОБНИН

ВЕЛИКИЕ  
ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ПЕРСОНЫ



# Юрий Владимирович Зобнин

## Николай Гумилев

### Серия «Великие исторические персоны»

*Текст предоставлен правообладателем.*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=5973254](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5973254)*

*Зобнин, Ю.В. Николай Гумилев : Вече; Москва; 2013*

*ISBN 978-5-905820-43-4*

### **Аннотация**

Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагерь. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других – с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А.И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах – и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы –

и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря – и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник»...

# Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
I	5
II	14
III	16
Глава вторая	35
I	35
II	38
III	43
Глава третья	59
I	59
II	63
Конец ознакомительного фрагмента.	74

# Юрий Зобнин Николай Гумилев

*Майе Леонидовне Ивановой — первой  
читательнице этой книги*

*...От скорби происходит терпение, от терпения  
опытность, от опытности надежда, а надежда не  
постыжает, потому что любовь Божия излилась  
в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5:  
1–5).*

## Часть первая

### Глава первая **Persona non grata**

#### I

9 января 1951 года у себя дома, в квартире ленинградского писательского дома-коммуны на ул. Рубинштейна, 7, была арестована дочь известного фотохудожника, секретарь поэтической и драматургической секции Ленинградского отде-

ления Союза писателей Ида Моисеевна Наппельбаум. Следствие по ее делу продолжалось более девяти месяцев. И действительно, даже на фоне весьма оригинальных процессов той строгой поры, этот оказывался выходящим вон из мыслимого вообще в юриспруденции ряда.

«...Два ленинградских писателя, “друга семьи”, – вспоминала много позже И.М. Наппельбаум, – положили на стол свидетельства, что они видели у меня дома на стене крамольный портрет поэта Николая Степановича Гумилева. <...> Я удивлялась, что меня ни разу не спросили, куда девался портрет. Дело шло как по маслу. Я ничего не отрицала. Их интересовало, каков был портрет, его размеры, даже краски. Я описала его с удовольствием, восстанавливая в своей памяти. Только удивлялась бессмысленности всего этого» (*Наппельбаум И.М. Портрет поэта // Литератор (Л). 1990. 30 ноября. (№ 45 (50)). С. 6*). Удивление Иды Моисеевны понять можно – пресловутый портрет, созданный в незапамятные 1920-е годы художницей Н.К. Шведе-Радловой, был уничтожен в 1937 году, *четыренадцать лет тому назад*.

Следователей, однако, это не смущало. Более того, «следствие даже не поинтересовалось ни моими отношениями с поэтом, ни нашей дружбой, поэтическими встречами, разговорами в студии при доме искусств и у меня дома. Достаточно было наличия в квартире портрета расстрелянного поэта, чтобы признать меня преступницей». Приговор –

десять лет в закрытом лагере особого режима.

Задумаемся. Портрет – это не стихи, в которых могут быть враждебные властям сентенции, и не документы, могущие содержать антисоветскую информацию. Портрет – произведение изобразительного искусства, поддающееся всегда весьма вольной интерпретации, и к тому же, коль скоро речь идет о кисти достаточно известного мастера, – недешевое. В конце концов, находилось же и в советские времена в экспозиции Русского музея знаменитое репинское полотно, изображающее заседание Государственного совета, – так на нем и Государь Император Николай Александрович присутствовал собственной персоной, и Константин Петрович Победоносцев, и мало ли кто еще, точно не вызывающие у коммунистических властей прилива нежных чувств. И смотрел ту картину всякий кому не лень и... ничего. Не арестовывали администрацию Русского музея и бабушек из репинских залов в Сибирь не ссылали. А ведь тут еще не надо забывать, что и портрета-то никакого, в сущности, нет. Так, был когда-то, а сейчас даже сама бывшая владелица вынуждена долго восстанавливать его в памяти, понуждаемая настоящими вопросами следователей: уж больно много воды утекло... И праха его нет, и следа.

Тут еще надо учитывать вот что. Если дело И.М. Наппельбаум нужно было срочно «сфабриковать» (а так оно и было в действительности, ибо сам следователь честно признался, что ее попросту «не добрали в 1937-м»), то к услугам

ленинградских сотрудников МГБ был в 1951 году, надо думать, обильнейший материал, ибо, начиная с 1920-х годов вокруг подследственной «враги народа» кишели кишмя. Ида Моисеевна была знакома чуть ли не со всеми литераторами и общественными деятелями, затем большей частью ушедшими либо в эмиграцию, либо в лагеря. Так вот, по меркам тогдашних специалистов из Государственной безопасности факт хранения (пусть и в давнем прошлом) портрета Гумилева (пусть и несуществующего уже в реальности) перевешивал по своей «криминальной» значимости знакомство хоть с тьмою тьмушей «врагов народа» и очевидное обращение через подследственную целых библиотек антисоветчины. «Шить» хранение портрета Гумилева было в данном случае вернее, нежели все прочее. Там, надо полагать, по мнению следственных органов 1950-х годов, еще можно было как-то вывернуться, здесь – невозможно никак.

Можно теперь оценить, так сказать, степень неприятия Гумилева коммунистической властью!

История И.М. Наппельбаум замечательна, но отнюдь не уникальна. Нечто подобное, например, ранее произошло с писателем Вивианом Азарьевичем Итиным (1894–1945), сотрудником журнала «Сибирские огни». В 1922 году он опубликовал в своем журнале коротенькую рецензию на вышедшие только что книги Гумилева: «Огненный столп», «Тень от пальмы» и «Посмертный сборник». В.А. Итин отнюдь не был противником советской власти. Его заметка – не более



чем библиографическая аннотация: три абзаца, вполне соответствующие тогдашней стилистике: Гумилев – «неисправимый аристократ», «холодный эстет», его Африка – это «Африка негусов», а Китай – «Китай богдыханов». Словом, все чин чином, комар носа не подточит. Но...

Но в конце заметки, появившейся через полгода после смерти поэта, В.А. Итин, сознавая объективно-некрологический характер отклика, счел нужным добавить: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией» (Сибирские огни. 1922. № 4; цит. по: Николай Гумилев: Pro et contra. СПб., 1995. С. 485).

Все. Этого ему уже не забыли – и *через шесть лет*, в 1928 году, Итин заполошно пишет Горькому: «Есть раздражающие факты. Недавно на пленуме Сибирского краевого комитета партии, в связи с докладом о “культурной революции”, был поднят вопрос о “Сибирских огнях” и о писателях. Ни меня, ни даже В. Зазубрина (Владимир Зазубрин, наст. имя – Зубцов Владимир Яковлевич, 1895–1937, писатель, большевик с дооктябрьским стажем, в 1928 – председатель Союза Сибирских писателей. – Ю. З.) на высокое собрание не пустили, хотя оба мы партийные коммунисты. Потом мы прочитали отчет. Там говорилось, что “Сибирские огни”... неблагонадежны в политическом отношении; например – один мальчик посвятил свои стихи Н. Гумилеву, это объясняется тем, что пять лет назад (sic!) в “Сибирских ог-

нях” было напечатано, что Гумилев оказал большое влияние на современную поэзию (заметка принадлежит мне, ответственним редактором тогда был Ем. Ярославский...). *На собрание справка о Гумилеве “произвела впечатление”*» (Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1969. Т. 1. С. 38–39). «Впечатление» было настолько сильным, что оправдаться «партийному коммунисту» В.А. Итину так до конца и не удалось. «Гумилевский эпизод» повис на нем мертвым грузом, и в конце концов Итин был арестован и умерщвлен в лагере.

Не следует, впрочем, думать, что все «гумилевские истории» оканчивались в советское время подобными кошмарами. Были развязки и вполне невинные. Так, об одной из них автор этих строк узнал, что называется, из первых уст, а участники тех событий благополучно здравствуют и по сей день, – почему мы и воздержимся от упоминаний конкретных имен.

Итак, первая половина 1960-х годов. Оттепель. Кульминация раннего советского либерализма. «Новый мир» Твардовского. Солженицын. Поэты – «шестидесятники» собирают стадионы слушателей. Массовая реабилитация жертв культа личности, и прежде всего – реабилитация ранее запущенных писателей.

Литературный кружок ленинградского Дворца пионеров проводит очередную олимпиаду. Принимаются сочинения на злободневную тематику. Один из участников кружка с по-

дачи своего руководителя пишет сочинение «*Творчество Н. Гумилева*». Куда уж злободневней! Сочинение так и начинается: «Несколько лет назад в советском литературоведении не было имен Ахматовой и Цветаевой, Бунина и Есенина, Бабеля и Булгакова. “Чем сложнее, непривычнее творчество писателя, тем больше с ним хлопот и неприятностей”, – писал В. Лакшин. Я думаю, причина забытости многих поэтов начала XX века именно в этом. Очевидно, к числу этих поэтов можно отнести Николая Степановича Гумилева. Нельзя же объяснить полную забытость автора его политическими взглядами. Тем более, что в подавляющем большинстве стихов политические взгляды автора не высказываются. Ведь писал он просто хорошие, музыкальные стихи. Может быть, гениальные?»

Нужно повторить: *в том историческом контексте*, на фоне публикаций Михаила Булгакова, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама и других «писателей из спецхранов», на фоне разоблачений «проклятого прошлого», совершаемых журналистами на страницах массовых изданий прямо с подачи «верхов», эта и подобные же сентенции, составившие вкупе текст сочинения, не выглядели – по крайней мере, не выглядели на первый взгляд, – чем-то *радикально оппозиционным*. Напротив, все логично: если уж реабилитируем Мандельштама, писавшего откровенно антисоветские стихи, или эмигрантку и жену белогвардейца Цветаеву, то уж Гумилева-то, который даже и стихов против советской власти не пи-

сал...

И, действительно, время было весьма либеральным – и реакция на сочинение оказалась со стороны администрации предельно мягкой: литературный кружок разогнали, олимпиаду запретили, руководителей кружка уволили, у юного любителя поэзии были неприятности в школе – всего-то. Оттепель, она и есть оттепель. Любопытна, правда, резолюция, наложенная на сочинение ответственным товарищем, курировавшим все мероприятие: «Итак, работа защищает “талантливого” и “масштабного” поэта Гумилева, а заодно с ним буржуазный мир, контрреволюцию, нищиеанскую философию, а, следовательно, и фашизм косвенно! Тенденциозный подбор цитат и материалов (Горький, боровшийся против модернизма в литературе, тщательно обходится) свидетельствует о *моральной и политической нечистоплотности автора*». Эх, опоздал рецензент! Вмазать бы такой формулировкой годами десятью раньше по... кому угодно – не то, что по школьнику из Дома пионеров, – от человека мокрое место бы осталось. А теперь что же... Только пафос полемический втуне пропал. Однако вызывает восхищение быстрота и четкость реакции: недаром автор этих воистину чеканных строк к тому времени уже прошел хорошую подготовку в системе министерства образования (и по сейчас, кстати, продолжает работать в той же системе, осваивая на склоне дней азы борьбы за светлое демократическое будущее).

Вот такие истории. «Запрет на Гумилева доходил до ко-

мизма, – свидетельствует Е.Г. Эткинд, – биографу А.А. Ахматовой запрещали упоминать о том, что она в 1910 году вышла замуж за Гумилева; приходилось изворачиваться, пользуясь неуклюжими перифразами, – вроде того, например, что Ахматова была “женой руководителя акмеистического направления”. В 1968 году книга Е.С. Добина об А. Ахматовой была брошена под нож только потому, что в ней несколько раз упоминался Гумилев; книгу Добина переиздали, изъяв проклятое имя. Иногда такие изъятия совершенно удивительны. Известно, например, что во главе объединения “Цех поэтов” стояли два так называемых “синдика” – Гумилев и Городецкий; на 22-й странице книги Е.С. Добина читаем: “Во главе “Цеха” стояли три “синдика”, в том числе Сергей Городецкий. Не два, а три... – это заведомая ошибка. Издательство пошло на грубое искажение факта, чтобы только не называть Гумилева: нельзя же сказать: “Во главе “Цеха” стояли два “синдика”, в том числе С. Городецкий... – это вызвало бы гомерический хохот. А “три” и “в том числе” – звучит вроде пристойно, хоть на самом деле и глупое вранье, навязанное Добину цензурой.

Да и мне пришлось пострадать от этого дурацкого запрета. Тогда же, около 1968 года, в издательстве “Прогресс” выходила составленная мною двуязычная антология “Французские стихи в переводе русских поэтов”; парнасский поэт Теофиль Готье был представлен хрестоматийно-известными переводами Гумилева. Стихи, далекие от всякой политики, чи-

сто эстетские, стилизованные, иногда слегка эротические – в духе нового рококо:

Ты хочешь, чтоб была я смелой?  
Так не ругай, поэт, тогда  
Моей любви, голубки белой  
На небе розовом стыда...

Книга была уже сверстана – тут-то и возник скандал: "белую голубку" безжалостно выкинули из сборника, не оставились и перед расходами на переверстку. Как же можно – переводы Гумилева!» (*Эткинд Е.Г. Возвращение Гумилева // Время и Мы (Tel-Aviv). 1986. № 90. С. 122–123*).

## II

Идейно-пропагандистский аппарат почти на всем протяжении существования СССР (за исключением разве нескольких лет «позднего» застоя, после смерти М.А. Суслова) был исключительно гибок и силен, что позволяло ему одерживать верх над сильнейшими противниками в условиях открытой идеологической войны с Западом и тотальных политических и экономических неудач в собственной стране. Анекдот о советском гражданине, который *«слышал не то, что видел, а видел не то что слышал»* – и в то же время, заметим, был, в общем, вполне лоялен к властям (горстка столичных диссидентов-интеллектуалов, не находящая осо-

бого сочувствия у «широких народных масс», не в счет), – косвенное признание высочайшего класса советских идеологов. То, что глухая пассивная оборона в любой борьбе бесперспективна, здесь понимали великолепно – и к *запретам на имя* (а в случае с Гумилевым мы имеем дело как раз с такой формой идеологического остракизма), насколько мне известно, не прибегали *без крайней к тому необходимости*. Имена-то, кстати, в отличие от каких-либо иных сведений об объекте повествования, не просто использовались, но и, превращенные в элементы устойчивых сочетаний, внедрялись в массовое сознание. Кто таков Николай II? – Кровавый! А Троцкий? – Иудушка! Бухарин? – Помесь лисицы и свиньи! Сталин? – Слишком груб! Культ личности! Хрущев? – Волюнтарист, кукурузник...

История русской литературы, особенно литературы XX века, также подвергалась этой простой и исключительно эффективной обработке. Горький – буревестник, всему лучшему обязанный книгам. Маяковский – сначала лучший и талантливейший поэт эпохи, а потом – просто агитатор, горлан, главарь. Ахматова – то ли монахиня, то ли блудница. Зощенко – подонок...

Подобного рода «номинативные формулы» хорошо было подкрепить, если речь идет о врагах, избранными цитатами и фактами биографии. Помимо того, наследие писателей подвергалось идеологическому истолкованию, плоды которого вкусили многие поколения советских школьников и сту-

дентов. Пушкинский «Евгений Онегин» в содержании своем сводился для них к «энциклопедии русской жизни», а гоголевские «Мертвые души» — к «галерее помещиков»...

Помня все сказанное, зададимся теперь вопросом: неужели же советская критика была настолько близорука и тупа, что, препарируя Гоголя с Пушкиным, спасовала перед Гумилевым, популярность которого (и, следовательно, реальный вред и потенциальная идеологическая польза) уже в двадцатые годы была очевидна?

### III

Парадокс в том, что, беспощадно подавляя любые **неуправляемые**, несанкционированные заранее попытки задействия в советском читательском обиходе творчества Гумилева, советские официальные идеологические структуры 1920 — 1930-х гг. настойчиво работали над *адаптацией* его к нуждам советского жизнестроительства — уж больно велик был соблазн. Хотя бы дезавуировать, сделать непривлекательным *по-настоящему*, а не под страхом наказания, непривлекательным и ненужным советскому человеку (как Гиппиус), сделать чтение Гумилева *дурным тоном*, актом снобистского эстетства, неизбежно влекущим за собой никогда не почитаемую в России антипатриотическую, космополитическую фронду (пусть даже и по отношению к *социалистическому*, но Отечеству). Хотя бы...



А ведь, может быть... Если бы сделать его... своим... Легальным. Прирученным к школьной программе – хотя бы несколькими, но *безусловно и надежно интерпретированными стихотворениями*. «Капитанами»! «Словом»! «Шестым чувством»! «Трамваем», елки-палки! Но так, чтобы интерпретация не вызывала смеха у обучаемых. Насмерть. Ведь сделали же «своим» Пушкина – «друга декабристов», и Толстого – «срывателя всех и всяческих масок». Да что там Толстой! Самого Федора Михайловича распластали и повязали так, что он явился теперь чуть ли не ближайшим идейным сподвижником Маркса с Лениным. И те ратовали за униженных и оскорбленных, и он...

Бедой и трагедией талантливых советских идеологов была в том, что они не хуже своих оппонентов понимали, **что** такое Гумилев. «Я знал людей (некоторые из них занимали в литературе, в прессе, в высших учебных заведениях командные посты), – пишет Л.А. Озеров, – проповедовавших с трибуны социалистический реализм и партийность, поддерживавших постыдные выступления Жданова, но в узком кругу за чашкой чая или за рюмкой водки упоенно читавших Гумилева. Они, что называется, “отводили душу”. Двуличие, ханжество и фарисейство цвели буйным цветом». Да, конечно, двуличие. Да, конечно, ханжество. Но все-таки еще и – трагедия. И человеческая, и – что важнее для нас – *профессиональная*. Ярче всего смысл этой трагедии сформулировал уже в 1921 году в разговоре с М.Л. Лозинским С.П. Бобров

– «сноб, футурист и кокаинист, близкий к ВЧК и вряд ли не чекист сам», как характеризует его Г.И. Иванов, который и зафиксировал этот разговор в своих «Петербургских зимах»: «Да... Этот ваш Гумилев... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж – сваял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны» (*Иванов Г.В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. С. 169.*)

Иванов – не самый достоверный мемуарист, однако именно этот эпизод в его воспоминаниях подтверждается целым рядом иных источников (Д.Ф. Слепян, В.А. Павлов, Н.А. Оцуп и др.). Но дело даже не в том. В приведенном монологе – вымышленном или настоящем – дается формула, востребованность которой в будущем «советском» гумилевоведении очевидна: «Эх, сваял дурака! Писал бы чуть-чуть иначе – какую бы карьеру сделал (хотя бы и посмертную)! *Нам такие люди нужны...*»

Вот как ставился вопрос о Гумилеве: с одной стороны – запрет, а с другой...

«До войны о нем еще можно было писать – но в каком тоне, – свидетельствует Е.Г. Эткинд. – Вот профессор Б.В. Михайловский в учебнике “Русская литература XX века” (1939) учит студентов филологических факультетов: “...

агрессивные устремления нашли свое воплощение в поэзии Гумилева. Гумилев прославлял ницшеанскую “мораль сильных”, воинствующих аристократических индивидуалистов, агрессивных людей... “расу завоевателей древних”, командиров, – презирующих и укрощающих бунтующую чернь”... “Открытый антидемократизм, монархизм”. И еще: “...на передний план проступали черты идеологии буржуазного паразитизма...”. Постоянно подчеркивается, что Гумилев – империалист, расист, ненавистник народа, певец колониализма, агрессор».

Ефим Григорьевич указывает лишь на одну тенденцию в процессе – деструктивную. И, действительно, приводимые им факты можно множить и множить. Так, А.А. Волков, в отличие от упомянутого проф. Михайловского, вообще специализировался на «разоблачении» Гумилева, едином по содержанию, но многократно повторенном в разных версиях разнообразных изданий. У Волкова был подобран ряд «ударных» гумилевских цитат, кочевавших из работы в работу и призванных доказать тот нехитрый тезис, что содержанием творчества Гумилева является «твердолобый консерватизм», «расовая гордость» и «воинствующий патриотизм»: «Гумилев... “не думающий” империалистический конквистадор, прямолинейный и последовательный в своих агрессивных стремлениях» (*Волков А.А. Поэзия русского империализма. М., 1935. С. 143, 186*). Самой же любимой в этом «цитатнике» у А.А. Волкова была выдержка из «африкан-

ской» поэмы «Мик» – из того эпизода, когда белый мальчик Луи пытается защитить своего черного друга Мика, которого абиссинский гвардеец пытается продать в рабство:

Пусти, болван, пусти, урод!  
Я белый, из моей земли  
Придут большие корабли  
И с ними тысячи солдат...  
Пусти, иль будешь сам не рад!

Поданная вне контекста цитата эта действительно вызывает странные чувства... Впрочем, если бы речь шла только о литературоведах!

Особая и интереснейшая тема – «гумилевiana» в советской художественной литературе эпохи расцвета социалистического реализма. В беллетристике Гумилев поминался нечасто и мельком – но как! Классикой здесь оказывается «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, где цитата из гумилевских «Капитанов» эмблематизирует весь спектр антисоветских настроений «бывшей» русской интеллигенции, вынужденной скрепя сердце сотрудничать с ненавистным большевистским режимом:

«КОМИССАР: Вы можете мне ответить прямо: как вы относитесь к нам, к советской власти?

КОМАНДИР (*сухо и невесело*): Пока спокойно. (*Пауза*). А зачем, собственно, вы меня спрашиваете? Вы же славитесь умением познавать тайны целых классов. Впрочем, это так

просто. Достаточно перелистать нашу русскую литературу, и вы увидите.

КОМИССАР: Тех, кто “бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что сыпется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет”. Так?

КОМАНДИР (*задетый*): Очень любопытно, что вы наизусть знаете Гумилева» (*Вишневский Вс.* Собрание сочинений. В 5 т. М., 1954. Т. 1. С. 242–243).

К «классике» этого же рода можно отнести и «Стихи о Поэте и Романтике» Эдуарда Багрицкого, в которой от лица юной советской романтической поэзии проклинается «черное предательство Гумилева»:

Фронты за фронтами.  
Ни лечь, ни присесть!  
Жестокая каша да ситник суровый;  
Депеша из Питера: страшная весть  
О черном предательстве Гумилева...

Я мчалась в телеге, проселками шла;  
И хоть преступленья его не простила, —  
К последней стене я певца подвела,  
Последним крестом его перекрестила...

(см.: *Багрицкий Эд.* Собрание сочинений. В 2 т. М. – Л., 1938. Т. 1. С. 608). Что Гумилев «предавал черным предательством», для читателя, не осведомленного в перипетиях

гумилевской творческой судьбы, не совсем понятно, однако стих звучит весьма темпераментно и остается в памяти, равно как и благородный образ «революционной Романтики», так сказать, хоть и не простившей, но – «перекрестившей»...

Однако повторяем, это – «классика», для простого читателя трудная. Гораздо эффективнее действовала «гумилевщина» массового читателя. Здесь с именем и фрагментами текстов Гумилева стойко связывалась вся мразь, которую мог себе представить рядовой советский обыватель. Любили Гумилева авторы детективов. Так, например, весьма характерный «гумилевский» эпизод встречается в «сыщицком» рассказе небезызвестного Л. Шейнина «Отец Амвросий» (о священнике-бандите): «Недоучившийся гимназист Витька Интеллигент происходил из богатой купеческой семьи. Еще юношей он свел знакомство с преступным миром, усвоил воровской жаргон, посещал притоны. Внешний лоск и некоторая начитанность сначала вызывали там враждебное недоумение, а потом снискали к нему уважение и доброжелательный интерес. И часто где-нибудь в воровском притоне или в курильне опиума Виктор проводил целые ночи в обществе громил, карманников и проституток. Он жадно выслушивал рассказы об их похождениях, при нем происходил дележ барышей, при нем обсуждались и вырабатывались планы новых преступлений.

Иногда Виктор читал стихи. Мечтательно запрокинув голову, он нараспев читал Гумилева. Читал он хорошо.

Тогда в душевной подвальной комнате становилось тихо. Юркие карманники с Сенного рынка, лихие налетчики из Новой Деревни, серьезные, молчаливые "медвежатники" – специалисты по взламыванию несгораемых касс, – их спившиеся, намалеванные подруги жадно внимали певучей, грустной музыке стихов» (*Шейнин Л. Старый знакомый. Повести и рассказы. М., 1957. С. 32–33*).

Были и детективы «шпионские». Так, в повести А. Полещук «Эффект бешеного солнца», прибегая к гумилевскому тексту, разоблачает себя в припадке откровенности бывший белогвардеец-контрразведчик, а потом – террорист-вредитель и агент всех разведок: «Я – один. А где все те, кто в трудную минуту спасал свои сундуки, кто пьянствовал без просыпу, кто рылся в барахле расстрелянных, кто поменял первородство и честь спасителя отечества на чечевичную похлебку из большевицкого котла. (Здесь, кстати, чувство стилистической меры изменило автору, явно не желающему впасть вслед за своим героем в антисоветизм, но невольно провоцирующему читателя на "крамольное" размышление: *хорошенькие же люди собрались "у большевицкого котла"*! но это так, к слову. – Ю. З.) Я был всегда другим. Да, был другим. Меня поразили когда-то слова: "Я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек". Это было верно, это была истина, истина моя и горстки таких, как я. Ваши друзья расстреляли автора этих строк, но, вспоминая те кисельные души, из-за которых все погибло, я и сегодня тот

самый металлический идол, идол кованный, идол мятый, битый, катанный, но живой и с живой надеждой» (Альманах научной фантастики. Вып. 8. М., 1970. С. 81).

Читали Гумилева террористы-антисоветчики. Читали в более поздние времена стилиги длинноволосые, те, которые – «папина "Победа"», брюки-дудочка и в Десерт-Холле сидят. А еще – автозапчасти воруют. И вот – финал: «А что потом? Может быть скомандуют: "Руки на голову!" и начнут обыскивать? И это после разговоров о Гумилеве и Ремарке? Мама моя родная!» (Лавров А., Лаврова О. Отдельное требование. Рассказы о следователе Стрепетове и его товарищах. М., 1971. С. 66.)

И, действительно, мама моя родная! Бандиты, блудные девки, наводчики, шпионы, стилиги... Дорогой потенциальный читатель Гумилева! Не хочешь ли присоединиться к компании?

Но была и обратная сторона медали.

То же советское литературоведение – иногда те же самые авторы, что всеми мыслимыми приемами старались скомпрометировать Гумилева в глазах читателей, – вело яростный бой за *своего Гумилева*, точнее, за право назвать что-нибудь в Гумилеве – *своим*.

Особо выделяются здесь блестящие работы так называемых вульгарных социологов («напостовцев») – В.В. Ермилова, А.П. Селивановского, В.М. Саянова и др. Так, В.В. Ермилов начинает свои рассуждения о Гумилеве с того, что



из изучения гумилевского творчества могут сделать «поучительнейшие выводы» «социолог, публицист, любой вдумчивый читатель, интересующийся процессом роста и консолидации *идеологии фашизма* (курсив В.Е. – Ю. З.)». Фашизм Гумилева Ермилова, впрочем, не смущает, ибо, несмотря ни на что, Гумилев, по мнению критика, «один из тех поэтов, которые *чувствуют свою эпоху*», а «это *чувство эпохи* дано не каждому художнику». «Чувство эпохи у Гумилева иное <чем у Блока>: оно тверже, яснее, но и *уже*. Два слагаемых образуют в сумме своей содержание нашей эпохи. Это – эпоха войн и революций. Второго слагаемого не видел, не чувствовал Гумилев. Он понял нашу эпоху как эпоху войн. Какие это войны, во имя кого и кем они ведутся – ему было непонятно». Гумилевское невежество в этом вопросе, впрочем, не столь страшно – коммунисты и без Гумилева прекрасно понимают, кем и во имя чего ведутся современные войны. А вот то, что Гумилеву удалось воспеть пафос боя, пробудить в читателе волю к борьбе, весьма ценно: «Не мир, но меч! и, в частности, у художников империалистической буржуазии должны заимствовать художники советской страны их настоящую готовность к войне, их умение находить горячие и пламенные слова для идущих в бой бойцов» (*Ермилов В.В. О поэзии войны // На литературном посту. 1927. № 10; цит. по: Николай Гумилев: Pro et contra. СПб., 1995. С. 550–553, курсив везде авторский*). Вывод, как мы видим, прост и ясен: если все «слова» и «*шестые чувства*» – бур-

жуазный идеалистический бред, не нужный советскому читателю, то уж *военная лирика* Гумилева явно пойдет этому читателю на пользу. Вот здесь Гумилев наш, похож на нас – такой же жесткий, кровавый, весело-агрессивный... агитационный: эй, вступайте в армию! Неважно, в какую, можно и в Красную, но – чтобы повоевать, чтобы – мировой поход, с кавалерией, с залитыми кровью неделями, ослепительными и легкими... Ну а о том, чтобы поход был туда, куда надо, и против кого надо, – позаботятся и без Гумилева. Опубликовать его «военную поэзию»! (Это время тогда такое было – канун мировой революции.)

А вот другая версия интерпретации гумилевского наследия для советской аудитории: В.М. Саянов, статья «К вопросу о судьбах акмеизма» (На литературном посту. 1927. № 17–18. С. 7 – 19). Военная лирика Гумилева там не приветствуется, как все-таки безнадежно-шовинистическая. Зато приветствуется, *оптимизм мировосприятия*. Весь пафос громадной, в два столбца, с подразделами-главами статьи – вот на чем зиждется. Была русская лирическая поэзия сугубо пессимистична, создавали ее интеллигенты-комплексотики, которые помимо своих четырех стен да застарелых болезней ничего и не видели. У символистов эта тенденция дошла до предела, до маразма, до жизнеотрицания. Ан тут и пришел Гумилев – на волне буржуазно-империалистического подъема, – простой, энергичный и радостный. Не комплексовал. И почти что не думал вообще (почему и погорел). А зато –

пел, что видел, наслаждаясь чувственно-пластическим миром, его красками и мощью, здоровьем своим наслаждаясь, силой мускулов да крепостью членов. И это – хорошо. Ибо мы тоже оптимисты, и тело и душа у нас молоды, и энергии – хоть отбавляй. Потому для поддержания здорового духа советского читателя очень желательно опубликовать *экзотические стихотворения* Гумилева, да покрасочней. А все остальное – и публиковать не нужно, одной экзотики хватит с лихвою.

Совершенно противоположный алгоритм адаптации гумилевского наследия к советским нуждам предлагал А.П. Селивановский. У него Гумилев – полностью опустошенный, побежденный и раздавленный революцией враг, воспевающий перед смертью свою собственную, вражескую гибель. «Гумилев, – пишет А.П. Селивановский, – учил свое социальное поколение не только жить и властвовать, но и умирать, не бояться смерти, как “старый конквистадор”... И немудрено, что Октябрьскую революцию Гумилев встретил без колебаний – в том смысле, что он был заранее подготовлен к контрреволюционной позиции. Из послереволюционных его стихотворений нужно выделить стихотворение “Заблудившийся трамвай”, особо интересное потому, что оно вскрывает ощущения русского фашиста, предчувствующего свою близкую гибель. <...> “Трудно дышать и больно жить”, “навек сердце угрюмо”, – таковы предсмертные самоэпитифические признания Гумилева. Вождь акмеизма, враг про-

летарской революции с начала и до конца, Гумилев закончил свою жизнь в 1921 году как участник белогвардейского заговора, и к этому времени его поэзия "цветущей поры" дала глубокую трещину. Он был побежден – в этом смысл такого психологического документа, как «Заблудившийся трамвай»» (Селивановский А.П. Октябрь и дореволюционные поэтические школы // Селивановский А.П. В литературных боях. М., 1959. С. 274–276). Так вот и нужно опубликовать *"Заблудившийся трамвай»(и все подобное)* – в назидание подрастающим поколениям. Пусть видят, как корчится русская фашистская гадина под железной пятой раздавившего ее Интернационала!

Качественно иную позицию по отношению к Гумилеву занимали ленинградские критики, прежде всего И.А. Оксенов (Советская поэзия и наследие акмеизма // Литературный Ленинград. 1934. № 48) – не идеологическую, а – *стилистическую*. Основная идея – он реалист, и мы реалисты. Правда, мы – социалистические, а он – не социалистический, но это не столь важно. А важно то, что Гумилев, чуть ли не единственный, после Некрасова, дал в XX веке образцы подлинно реалистического стихотворчества. С изобилием конкретных описательных деталей. Мораль: опубликовать и ввести в оборот все описательное, по возможности – содержательно-нейтральное. Пейзажи. Интерьеры. Портреты. С деталями. И тем деталям – учиться, учиться и учиться, ибо, что и говорить, – мастер. Мэтр. Против этого не попрешь. А что

кроме, то от лукавого.

Подобные «правила игры» вынуждены были принимать и те деятели культуры, которые бескорыстно хотели добиться для советских читателей права на легальное знакомство с творчеством одного из величайших поэтов XX века. Так, В.Н. Орлов в своей книге «Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века» (М., 1976) вынужден был повторить все вульгарно-социологические пошлости о Гумилеве (и не только – увы! – о нем), правда, смягчив их до предельной возможности, – для того, чтобы только подытожить: «Как бы ни оценивать общий смысл и направление их (Гумилева со товарищи, опальных поэтов Серебряного века. – Ю. З.) творчества, все они обладали бесспорными талантами, были мастерами своего дела, и у каждого из них можно найти хорошие и даже отличные стихи. Право же, нам ни к чему обеднять историю нашей поэзии». В.Н. Орлова не поняли, а, точнее – *поняли слишком хорошо*. В результате «Литературная газета» откликнулась на выход его книги своеобразной статьей Ф. Чапчахова «Маршруты истинные и ложные» (30 марта 1977 г.), где неукоснительно договаривается «позабытая» автором «Перепутий» *мораль*: «Точная и подробная карта путей и перепутий русской поэзии начала нашего века возникает на страницах книги Вл. Орлова. На карте этой прочерчены истинные и ложные маршруты: и те широкие дороги, что вели в бессмертие, на вершины настоящей поэзии, бережно хранимой народом, и те глухие, изви-

листые тропы, что неизбежно заводили в дебри и топи забвения даже даровитых поэтов. Всякий подлинный поэт обязан быть с веком наравне, обязан "всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушать Революцию". Об этом напоминает книга Вл. Орлова "Перепутья"». Впрочем, еще раньше, в 1966 году, весьма скептически оценил перспективы усилий Орлова по «пробиванию» запрещенных поэтов Виктор Андронникович Мануйлов. Откликаясь на статью В.Н. Орлова в «Вопросах литературы», заявляющую тематику «Перепутий», Мануйлов чеканил: «Публикацию или перепечатку идеологически сложных и недостаточно проясненных для наших современников произведений вряд ли целесообразно предварять и оправдывать предисловиями, в которых делается все возможное и невозможное, чтобы снизить значение автора того или иного произведения, всячески разоблачить его, подорвать его моральный, политический или художественный авторитет» (Мануйлов В.А. Благие намеренья и спорные суждения В.Н. Орлова. Текст не опубликован, рукопись представлена В.П. Петрановским).

*Все равно ничего ни у кого не получилось!*

Высшие коммунистические идеологические структуры достаточно долго наблюдали за работой критиков-«спецов», а потом пришли к единственно правильному выводу: *ни о каком использовании наследия Гумилева в советском культурном обиходе не может быть и речи*. Любопытно проследить за эволюцией методики трактовки фигуры Гумилева в

советских энциклопедиях.

В *Малой советской энциклопедии* (Изд. 1. Т. 2. 1929) – краткая справка: «холодный, рассудочный лирик, мастер строгой формы».

*Большая советская энциклопедия* (Изд. 1. Т. 19. 1930) – достаточно объемная, хотя и «разгромная» статья Г. Лелевича.

*Малая советская энциклопедия* (Изд. 2. Т. 3. 1935) – краткая справка, перечень книг (неполный) и информация о том, что в 1921 г. расстрелян «за контрреволюцию».

*Большая советская энциклопедия* (Изд. 2. Т. 13. 1952, согласно алфавиту) – имя проигнорировано.

*Энциклопедический словарь* (Т. 1. 1953, согласно алфавиту) – имя проигнорировано.

*Энциклопедический справочник «Ленинград»* (1957) – имя проигнорировано.

*Малая советская энциклопедия* (Изд. 3. Т. 3. 1959) – краткая справка, перечень книг (неполный) и информация о том, что в 1921 г. расстрелян «как участник белогвардейского заговора».

*Энциклопедический словарь* (Изд. 2. Т. 1. 1963) – краткая справка, перечень книг (неполный) и информация о том, что в 1921 г. расстрелян «как участник белогвардейского заговора».

*Большая советская энциклопедия* (Изд. 3. Т. 7. 1972) – статья Ф.Е. Бухиной, содержащая краткие биографические

сведения, перечень изданий и заключение: «Особенность поэзии Гумилева – чеканность ритмов, гордая приподнятость тона. Недостаток его поэзии – экзотичность, уход от современности, культ силы, восхваление волевого начала. Гумилев не принял революцию, оказался причастным к контрреволюционному заговору и в числе его участников был расстрелян».

*Советский энциклопедический словарь* (М., 1980). Дословно: «Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – русский поэт. В 1910-е годы глава *акмеизма*. Для стихов характерна апология "сильного человека", декоративность, изысканность поэтического языка (сб. "Путь конквистадоров" 1905, "Костер" 1918, "Огненный столп" 1921). Расстрелян как участник контрреволюционного заговора».

В школьных учебниках Гумилев последний раз упоминается в 1954 году: «В начале второго десятилетия XX в. в поэзии возникло еще одно реакционное течение – *акмеизм* (Гумилев, Ахматова и др.). Поэты этого течения, как и символисты, порывали с патриотическими традициями русской литературы, клеветали на революцию; искусство они определяли как "веселое ремесло", стремились укрыться от неприятной действительности "в мизерные личные переживания и копание в своих мелких душонках" (А.А. Жданов)» (*Тимофеев Л.И.* Русская советская литература. Учебник для 10 класса средней школы. М., 1954. С. 128).

Что творилось в студенческих учебниках – мы уже знаем:



«Пусти, болван, пусти, урод...»

И – всё.

3 декабря 1968 г. начальник Главлита П.К. Романов в совершенно секретном докладе на заседании ЦК КПСС сообщал: «Необходимо отметить, что серьезные недостатки в содержании допускало издательство "Просвещение" и при подготовке к печати материалов и по другим вопросам. <...> В феврале 1968 г. издательством была допущена серьезная ошибка при подготовке к печати и выпуске в свет сборника "Три века русской поэзии". В нем были опубликованы стихи участника контрреволюционного заговора Н. Гумилева, расстрелянного по приговору ВЧК, а также дана положительная оценка его творчества. *После вмешательства отдела пропаганды ЦК КПСС издательство произвело изъятие трех и переверстку семи печатных листов в сорока тысячах экземпляров готового тиража*» (Вопросы литературы. 1998. № 5. С. 303, выделено мной. – Ю. З.).

Нашлось **нечто**, что не смогли переварить даже "твердокаменные", по выражению В.И. Ленина, желудки марксистов, и, к великому горю, носителем этого **нечто** стал один из величайших поэтов современности. Поделаться с ним ничего нельзя – и мало проку в том, что самого его расстреляли: книги, рукописные и гектографированные копии гуляют по всей стране. Поэтому выход только один, хотя и аховый, но что поделаешь. Тотальный запрет. Табу на имя. Хороша Маша, да не наша...

Дело в том, что люди, столкнувшись с любым, хотя бы и «препарированным» фрагментом гумилевского наследия, становились *неуправляемыми*.

Чтобы оценить мудрость вождей страны, нужно взглянуть на то, что творилось «по ту сторону баррикад».

# Глава вторая

## Его читатели

### I

Отделкой золотой блистает мой кинжал;  
Клинок надежный, без порока;  
Булат его хранит таинственный закал —  
Наследье бранного востока.

<...>

Теперь родных ножон, избитых на войне,  
Лишен героя спутник бедный,  
Игрушкой золотой он блещет на стене,  
Увы, бесславный и безвредный!

<...>

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,  
Свое утратил назначенье,  
На злато променяв ту власть, которой свет  
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов

Воспламенял бойца для битвы,  
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,  
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как Божий Дух, носился над толпой  
И, отзыв мыслей благородных,  
Звучал, как колокол на башне вечевой  
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,  
Нас тешат блески и обманы;  
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык  
Морщины прятать под румяны.

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!  
Иль никогда, на голос мщенья,  
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,  
Покрытый ржавчиной презренья?..

Лермонтов Михаил Юрьевич. *«Поэт»*. Тысяча восемьсот тридцать восьмой год.

В 1903 году, в самый разгар Серебряного века, Лермонтову *попытался* ответить Брюсов («Кинжал»):

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,  
Как и в былые дни, отточенный и острый.  
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,  
И песня с бурей вечно сестры.

<...>

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,  
Как прежде, пробежал по этой верной стали,  
И снова я с людьми, – затем, что я поэт.  
Затем, чтоб молнии сверкали.

Гумилев не написал бы так никогда! На фоне чрезвычай-  
но самоуверенного Серебряного века он производит скорее  
впечатление человека, обремененного легким комплексом  
неполноценности. По крайней мере, насколько можно судить  
по письмам и мемуарным источникам, он регулярно впада-  
ет в припадки самоуничтожения, рассуждая о гениальности  
Брюсова, Бальмонта, Вяч. Иванова, Блока и т. п., – в пику  
собственной поэтической несостоятельности. Невиннейшее  
же упоминание в *юмористическом* стихотворении о возмож-  
ной посмертной славе —

Мой биограф будет очень счастлив,  
Будет удивляться два часа,  
Как осел, перед которым в ясли  
Свежего насыпали овса, —

сразу же сопровождается корректирующим автокоммен-  
тарием: «Здесь я, признаться, как павлин хвост распустил.  
Как вам кажется? Вряд ли у меня будут биографы-ищейки.  
Впрочем, кто его знает? А вдруг суд потомков окажется бо-

лее справедливым, чем суд современников. Иногда я надеюсь, что обо мне будут писать монографии, а не только три строчки петитом. Ведь все мы мечтаем о посмертной славе. А я, пожалуй, даже больше всех» (*Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 1988. С. 117*). Из всех «мечтаний о посмертной славе» в поэзии Гумилева остались только два стиха «Молитвы мастеров»:

Лишь небу ведомы пределы наших сил:  
Потомством взвесится, кто сколько утаил.

А между тем, пророческое видение Лермонтова, как нам сейчас неотразимо ясно, относится именно к Гумилеву. Относится *буквально*, ибо *лучшей характеристики «посмертной судьбы» Гумилева, нежели той, которая дана в лермонтовском «Поэте», – нет.*

Попробуем преследить *буквальный* смысл лермонтовских пророчеств.

## II

Бывало, мерный звук твоих могучих слов  
Воспламенял бойца для битвы...

Свидетельствует М.А. Дудин: «Я помню, как в мутный осенний день 1942 года с “невского пяточка” на правый бе-

рег Невы, в редакционную землянку вернулся мой друг Георгий Суворов. Его лицо и плащ-палатка были перепачканы в крови и глине. Он посмотрел на меня, устало сел рядом на нары, сдернул с высокого, прекрасного лба пилотку, закинул назад слипшиеся от пота волосы и прочел:

И так сладко рядить победу,  
Словно девушку в жемчуга,  
Проходя по дымному следу,  
Отступающего врага.

Я ему ответил тоже стихами Гумилева – такая уж между нами была заведена игра:

Я бродяга и трущобник, непутевый человек,  
Все, чему я научился, все теперь забыл навек,  
Кроме розовой усмешки и напева одного:  
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!

Георгий Суворов улыбнулся мне, потом освободился от плащ-палатки, – не скинул ее с себя, а вылез из нее, не снимая сапог, вдвинулся в глубину нары и заснул. <...> Гумилев был нашим поэтом. Нам казалось, что в своих стихах он понимал нас» (*Дудин М.А. Охотник за песнями мужества // Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Волгоград, 1988. С. 9 – 10*).

Интересно, что почти в то же время, когда Дудин деклами-

ровал Гумилева на «невском пяточке», какой-то анонимный публикатор, настроенный резко антикоммунистически, в оккупированной немцами Одессе издал Гумилева же, снабдив сборник стихотворений своеобразным предисловием: «Сейчас, когда все подлинно русские люди и по ту и по эту линию фронта с нетерпением ждут гибели ненавистного большевизма, когда приходит время решительной борьбы за Новую Россию, стихи Николая Гумилева звучат для нас с новой силой. Нам дорога мужественная поступь его зрелого стиха, смелое разрешение лирического сюжета и, прежде всего, его постоянный, страстный призыв к дерзновенному героизму» (*Гумилев Н.С. Избранные стихи. Одесса, 1943. С. 3*). Нет, все-таки прав был В.В. Ермаков, писавший об умении Гумилева находить «горячие слова для идущих в бой бойцов». Правда, для того боя, который имел в виду Ермаков, пытаясь приспособить гумилевскую военную поэзию к идеологическим нуждам СССР конца 1920-х – начала 30-х годов, – *боя за мировую революцию*, – стихи эти действительно не подходили. А вот в начале 1940-х, во время великой *битвы за Россию*, в которой каждый *по совести* определял свое место, действительно, для *всех русских* «и по ту, и по эту линию фронта» Гумилев представлялся «своим поэтом». Вообще, вся «военная поэзия» эпохи Второй мировой войны, как советская, так и эмигрантская, пронизана гумилевской образностью и метрикой – об этом много писали как в заграничном, так и в отечественном гумилевоведении.



С констатации этого несомненного факта, кстати, начинали, полагая его достаточно веским аргументом в пользу Гумилева, «перестроечные» публикаторы в 1986–1987 гг. «Впервые стихи Николая Гумилева, – читаем в заметке Б. Примерова, предварявшей одну из первых, "ударных" подборок стихов в "Литературной России" (11 апреля 1986. № 15(1211)), – я услышал из уст замечательного русского прозаика Виталия Александровича Закруткина. Это было давно – на заре моей юности. Автор "Кавказских записок" и "Плавучей станции", участник Великой Отечественной войны, читал горячо, увлеченно, с какой-то особой любовью. <...> Потом уже несколько лет спустя из бесед с многими поэтами военного поколения я узнал, какое влияние Гумилев имел на них – от Тихонова до Шубина, от Симонова до Недогонова...» Да и могло ли быть иначе, если *сам Гумилев*, по воспоминаниям И.В. Одоевцевой, в 1921 году «предвидел новую войну с Германией и точно определял, что она произойдет через двадцать лет.

– Я, конечно, приму в ней участие, непременно пойду воевать. Сколько бы вы меня не удерживали, пойду. Снова надену военную форму, крикну, и сяду на коня – только меня и видели. *И на этот раз мы побьем немцев! Побьем и раздавим!*» (Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 1988. С. 115–116). Перечитывая этот эпизод у Одоевцевой, я всегда вспоминаю потрясающую историю, рассказанную мне неизвестной пожилой женщиной в антракте одного из ранних гу-

милевских поэтических вечеров (1987 или 1988 года). Девочкой-школьницей она пережила эвакуацию из осажденного Ленинграда, в канун битвы за город, летом-осенью 1941-го. Вагоны, где находились дети, прицепили к эшелону, вывозившему раненых, и во время пути старшие школьники пошли в санитарные вагоны – читать раненым бойцам стихи. Читали стихи, вставая на табуретку или ящик, – вагон был битком набит искалеченными людьми. Стихи были те, которые учили в школе наизусть, – Пушкин, Некрасов, Маяковский. Стихи «не проходили», было страшно и смертно-тоскливо. И вдруг, по утверждению рассказчицы, словно во сне, помимо воли, она начала в свою очередь читать не то, что приготовила, а стихи, автора которых она не знала, но запомнила со слов отца, часто декламировавшего их наизусть:

Та страна, что могла быть раем,  
Стала логовищем огня.  
Мы четвертый день наступаем,  
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного  
В этот страшный и светлый час —  
Оттого, что Господне слово  
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели  
Ослепительны и легки:

Надо мною рвутся шрапнели,  
Птиц быстрее взлетают клинки.

Я кричу – и мой голос дикий,  
Это медь ударяет в медь.  
Я носитель мысли великой  
Не могу, не могу умереть —

Словно молоты громовые,  
Или воды гневных морей,  
Золотое сердце России  
Мерно бьется в груди моей!

То, *как* слушали эти стихи, рассказчица не могла передать словами... А я вдруг сразу все это увидел: горящий город, у стен которого схватились две великие армии, кровавый вагон, девочку, навзрыд и в крик читающую «Наступление» с трясущегося ящика, окаменевшие лица солдат – и, точно, представилась среди них фигура человека в тяжелой кавалерийской шинели, машинально, привычным жестом придерживающего кованый эфес сабли...

### III

Он нужен был толпе, как чаша для пиров,  
Как фимиам в часы молитвы.

Свидетельствует Г. Свирский: «Я с предельной отчетливостью помню вечера и ночи в Геленджике, университетском Доме отдыха у Черного моря (речь идет о конце 1940-х годов. – Ю. З.). Сырая, пахнущая водорослями ночь. Море. Собираются, сбиваются в кучки пять или шесть человек, доверяющих друг другу. Пограничники выгоняют студентов с ночного пляжа. "Не положено! После 10 часов вечера пляж – запретная зона..." Студенты вновь и вновь просачиваются в запретную зону, поближе к морским брызгам и светящейся шуршащей воде и по очереди читают, читают, читают. Оказалось, есть ребята, которые помнят всего Гумилева... <...> Прямо с поезда я побежал к морю окунуться и услышал взволнованное, порывистое, как признание:

Да, я знаю, я вам не пара,  
Я пришел из другой страны,  
И мне нравится не гитара,  
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам,  
Темным платьям и пиджакам,  
Я читаю стихи драконам,  
Водопадам и облакам...

И тут читавший заметил меня, неведомого ему во флотском кителе, и – оборвал чтение: кто-то вскочил, чтобы нырнуть во тьму, но слышался басовитый голос: "Это свой! С

филологического..." И читавший, вздохнув полной грудью, прокричал ночной тьме:

И умру я не на постели,  
При нотариусе и враче,  
А в какой-нибудь дикой щели,  
Утонувшей в густом плюще...

Тут заплакала какая-то девушка, навзрыд, ее пытались успокоить, увели, а я подумал в ту минуту, что эта ночь у воды, и эта исступленность описаны писателем Реем Брэдли в его фантастической книге "451 € по Фаренгейту". В этом фантастическом произведении государство уничтожало культуру. <...> И отдельные интеллигенты заучивали наизусть классику. И, уйдя подальше от городов, бродили по полям и берегам рек, твердя любимые строки, чтобы не забыть и передать своим детям» (Свирский Г. На лобном месте: Литература нравственного сопротивления (1946–1976). Лондон, 1979. С. 94–96).

Воспоминаний о неперенном присутствии стихотворений Гумилева «на пирах» русских интеллектуалов XX века – очень много. Есть и менее патетические, чем повествование Свирского, но более жизнерадостные, как, например, история знакомства Е.Н. Каннегиссер с М.П. Бронштейном: «Я познакомилась с Матвеем Петровичем ранней весной, по моему, 1927 года. Стояли лужи, чирикали воробьи, дул теплый ветер, и я, выходя из лаборатории где-то на Васильев-

ском острове, повернулась к маленькому ростом юноше в больших очках, с очень темными, очень аккуратно постриженными волосами, в теплой куртке, распахнутой, так как неожиданно был очень теплый день, и сказала:

Свежим ветром снова сердце пьяно...

После чего он немедленно продекламировал все вступление к этой поэме Гумилева ("Открытие Америки". – Ю. З.) ... Я радостно взвизгнула, и мы тут же, по дороге в Университет стали читать друг другу наши любимые стихи. И, к моему восхищению, Матвей Петрович прочитал мне почти всю "Синюю звезду" Гумилева, о которой я только слышала, но никогда ее не читала.

Придя в Университет, я бросилась к Димусу и Джонни (Д.Д. Иваненко и Г.А. Гамов. – Ю. З.) – в восторге, что я только что нашла такого замечательного человека. *Все стихи знает, и даже "Синюю звезду" (Горелик Г. Е., Френкель В.Я. Матвей Петрович Бронштейн: 1906–1938. М., 1990. С. 27–28, курсив мой. – Ю. З.).*

Были и истории мистические. Так, академик В.М. Алексеев, востоковед-синолог, опубликовавший в 1923 году «Антологию китайской лирики», в предисловии к которой неосторожно назвал Н.С. Гумилева своим «покойным другом», вдруг получил осенью следующего года письмо от некоего одессита Л.М. Райфельда, где сообщался текст якобы «неиз-

вестного сонета Гумилева», причем специально оговаривалось, что сей текст попал в руки отправителя письма при обстоятельствах, «выходящих за пределы обычного характера». И действительно, сонет был весьма своеобразным:

Я на звезде, как пламень неизбежной  
Тебе веков пою тревожный сон.  
Мой Рок, как этот черный небосклон  
И нет в нем слов. Есть звук лишь безнадежный.

Здесь, на Звезде, меняются небрежно  
Цвета одежд. Ах, жалок и смешон  
И золотой земной хамелеон  
И ящер душ, его спутник смежный.

Вот, рой за роем лезут метеоры,  
Сплетая кольца в круг. Из-за звезды  
И страшный вой бесчувственной орды  
Хамелеоновые кроет взоры.

Как вещий мрак призыв к твореньям новым  
Тревожный сон, воспетый Гумилевым.

Алексеев заинтересовался и попросил разъяснений, на что покладистый корреспондент скоро ответил, что текст сонета – результат... оккультно-поэтической переписки его с... покойным поэтом, к которому Райфельд взывал стихотворными экспромтами и заклинаниями, будучи «давним

поклонником» поэзии Гумилева и не в силах смириться с его безвременной кончиной. Л.М. Райфельд рад был сообщить Алексееву утешительные новости: Николай Степанович находился на Юпитере (здесь наверняка не обошлось без «Божественной комедии» – согласно дантовскому «Раю», на Юпитере нашли приют справедливые короли и воители, носители имперской идеи), и последним известием от него стал призыв: **«Так изучите меня!»** (сообщено дочерью В.М. Алексеева М.В. Баньковской). Это, конечно, выглядит комически, но ведь и мать поэта, Анна Ивановна Гумилева, верила «что Николай Степанович не такой человек, чтобы так просто погибнуть, что ему удалось бежать, и он, разумеется, при помощи своих друзей и почитателей проберется в свою любимую Африку. Эта надежда не покидала ее до смерти» (Жизнь Николая Гумилева. Л., 1990. С. 20).

А вот совсем простая история, будничная, так сказать, рядовая: «Я помню, как в единой трудовой школе в Москве, когда на уроках литературы мы прорабатывали роман Чернышевского "Что делать?", наш преподаватель математики, Петр Андреевич, дал мне однажды маленький, очень изящно изданный сборник стихов: "Вот, выпиши себе, что захочешь, и верни мне завтра до уроков". Этот сборник был изданный в Берлине "Огненный столп" Гумилева. Я переписал его тогда весь» (*Редлих Р.* Возвращение поэзии Гумилева // Посев. 1986. № 8. С. 45).

Памятен эпизод визита в СССР в 1988 году президента



США Р. Рейгана, насмотревшегося в Москве на «успехи перестройки», да вдруг и заметившего в беседе с энтузиастически настроенным М.С. Горбачевым, что-де не стоит слишком уж увлекаться реформаторским пафосом, ибо...

Не семью печатями алмазными  
В Божий Рай замкнулся вечный вход,  
Он не манит блеском и соблазнами  
И его не ведает народ

(Советско-американская встреча на высшем уровне. М., 1988. С. 97). Помнится, Михаил Сергеевич был несколько удивлен... Но это, конечно, случай из разряда анекдотических. Просто американский президент располагал хорошими референтами, а также – чувством юмора. А вот историю издания Гумилева в эмигрантских лагерях «перемещенных лиц» (т. н. «ди-пи») в 1947 году анекдотом уже не назовешь. «Я хорошо помню, – пишет Р. Редлих, – как открывали для себя Гумилева люди в оккупированных немцами областях России, как ценились изданные в эмиграции сборники его стихов. Передо мной и сейчас лежит переизданная в лагере для перемещенных лиц карманного формата книжечка: "Николай Гумилев. Собрание сочинений в четырех томах. Стихотворения. Том первый. Регенсбург, 1947". В так называемых "Ди-Пи-лагерях", в которых формировалась "вторая эмиграция", именно Гумилева перепечатывали своими силами, наряду с букварями и учебниками по вождению и

уходом за автомобилями» (*Редлих Р.* Указ. соч. С. 45). Причины публикации поэтического сборника – да еще в *четырёх томах!* – в столь неподходящих условиях объяснил издатель «регенсбургского Гумилева» – В.К. Завалишин: «Людей, которые бы не знали, что такое страх, в мире нет. Но человек может быть рабом страха или властелином своих судеб. Преодоление страха создает героев. Николай Гумилев вошел в историю русской литературы как знаменосец героической поэзии. <...> Гумилев – романтик, но его романтика особенная, она вмещает в себя всю страсть мира, проявившуюся и в героических подвигах и в приступах осатанелой злобы, с которой человек борется, напрягая и мускулы и силу воли» (*Завалишин В.К.* Знаменосец героической поэзии // *Гумилев Н.С.* Собрание сочинений в четырех томах. Регенсбург. 1947. Т. 1. С. 5–6). Впрочем, этот четырехтомник не был в лагерях ди-пи единственным гумилевским изданием: годом раньше вышел том «Избранных стихотворений» в Зальцбурге. Кто издавал – неизвестно. Как издавали в тех условиях – уму непостижимо.

Здесь, впрочем, уже кончается разговор «**о пирах**» и начинается – «**о молитвах**».

Дело в том, что среди всего прочего, известны факты стихи Гумилева действительно читались в таких ситуациях, когда затем уместно было читать только молитвы. Впечатляет рассказ Е.А. Гнедина, сотрудника Наркоминдела, а в 1939 г. – узника Лубянки, которого допрашивал, выбивая

«компромат» на М.М. Литвинова, лично нарком Л.П. Берия. «Избитого, с пылающей головой и словно обожженным телом, меня, раздев догола, поместили в холодном карцере... — вспоминал Гнедин. — Я снова стоял раздетый на каменной скамейке и читал наизусть стихи. Читал Пушкина, много стихов Блока, поэму Гумилева "Открытие Америки" и его же "Шестое чувство". Кто-то спросил тихо часового, наблюдавшего за мной в глазок: "Ну, что он?". Тот отвечал: "*Да все что-то про себя бормочет*"» (Гнедин Е. Катастрофа и второе рождение. Мемуарные записки. Амстердам. 1977. С. 138–139; цит. по: Давидсон А. Муза Странствий Николая Гумилева. М., 1992. С. 287). А.А. Андреева, жена Д.Л. Андреева, автора «Розы Мира», осужденная вместе с мужем в 1948 году на 25 лет лишения свободы, вспоминает: «Для меня так и осталось загадкой, почему стихи оказались так нам нужны, нужнее хлеба. Мы по строчке вспоминали стихотворение Гумилева "Капитаны". Почему в этих промерзших бараках на сплошных нарах так необходимо было бормотать: "На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных, шелестят паруса кораблей..."?» (Андреева А.А. В тюрьме мы делали маникюр и локоны... // Комсомольская правда. 1998. 12 ноября).

Существует апокриф, очень похожий на правду, но, к сожалению, документально в моем архиве не подтвержденный, как в 1940-е годы уничтожалась изъятая «органами» у арестованных запрещенная литература, а именно книги Гуми-

лева. Книги эти они, конечно, уничтожали – инструкция, она и есть инструкция. Однако, перед тем как уничтожить, те книги *сами чекисты и переписывали*. Для себя...

Впрочем, некоторые и нарушали инструкции – это уже не апокриф, а факт, сообщенный на мандельштамовском вечере Е.Б. Белодубровским, – одну такую библиотеку «нелегалщины» он сам видел, оказавшись случайно, по журналистским делам, в гостях у одного из бывших чинов госбезопасности. Вашингтонское Собрание сочинений Гумилева занимало там почетное место (имеется еще несколько свидетельств подобного рода, исходящих от разных лиц, переданных автору этих строк в частных беседах). Все это, конечно, повторим, из области патологии, но... ведь и рисковали же зачем-то эти люди. Уж кто-кто, а они-то хорошо знали, *чем* может обернуться для них хранение подобных копий и изданий о «петроградской ЧК», впрочем, разговор особый. Интерес к запрещенным, «вражеским» текстам по-человечески понятен: запретный плод сладок всегда, но... зачем же хранить? Да еще, упаси Боже, *переписывать*? И невольно вспоминаются страшные стихи Бориса Корнилова – поэта тогда еще вполне «просоветски» настроенного, обращенные к тень антисоветчика-Гумилева:

...И запишут в изменники  
Вскорости кого хошь.  
И с лихвой современники  
Страх узнают и дрожь...

Вроде пулям не кланялись,  
Но зато наобум  
Распинались и каялись  
На голгофах трибун,

И спивались, изверившись,  
И не вывез авось,  
И стрелялись, и вешались.  
А тебе – не пришлось.

Царскосельскому Киплингу  
Подфартило сберечь  
Офицерскую отправку  
И надменную речь.

...Ни болезни, ни старости,  
Ни измены себе  
Не изведаль...  
и в августе,  
В двадцать первом, к стене  
Встал, холодной испарины  
Не стирая с чела,  
От позора избавленный  
Петроградской ЧК.

(текст приводится по «самиздатовской» копии в архиве  
В.П. Петрановского).

Просматривая многочисленные и крайне противоречивые

документы, относящиеся к «делу Петроградской Боевой Организации (ПБО)», невозможно не заметить, мягко говоря, странного отношения питерских чекистов к знаменитому подследственному. Так, Виктор Серж (В.Л. Кибальчич) в «Записках революционера» вспоминает о своих хлопотах за арестованного поэта: «Товарищи из исполкома Совета меня одновременно и успокоили и взволновали: к Гумилеву в Чека относятся очень хорошо, он иногда ночью читает чекистам свои стихи, полные благородного мужества, но он признал, что составлял некоторые документы контрреволюционной группы. <...> Один из товарищей поехал в Москву, чтобы задать Дзержинскому вопрос: "Можно ли расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России?" Дзержинский ответил: "Можем ли мы, расстреливая других, сделать исключение для поэта?"» (Цит. по: *Тименчик Р.Д.* По делу № 214224 // Даугава. 1990. № 8. С. 118; см. также с. 120–122). А ведь головой рисковал «товарищ» (если таковой действительно был), лично справляясь у шефа ЧК, нужно или не нужно расстреливать контрреволюционера, вина которого доказана. М.Л. Слонимский в беседе с А.К. Станюковичем дополняет, очевидно, этот же эпизод, называя конкретные имена: «Садофьев и Маширов-Самобытник ходили к Бакаеву (И.П. Бакаев, 1887–1937, один из виднейших чекистов, руководитель ПетроЧК в годы "красного террора". – Ю. З.). Бакаев: "Что мы можем сделать? Мы его спрашиваем: "Кем бы вы были, если б заговор удался?" – "Командую-

щим Петерб. военным округом". *Бакаев хотел что-то сделать, но Гумилев сам упорствовал»* (Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 273–274).

Даже если все вышесказанное – «легенды», распространяемые, как это часто бывало, самими чекистами, само их содержание ясно показывает, что «дело Гумилева» не воспринималось ПетроЧК украшением собственной истории. Везде проскальзывает некий мотив, не скажем – пилатовский, а скорее «годуновский», в шалашинско-оперном духе: «*Не я, не я твой лиходеи...*» Чего стоит хотя бы очевидная чекистская легенда, гласящая, что-де в самый момент казни некий высший чекистский чин, желая на свой страх и риск спасти Николая Степановича, крикнул: «Поэт Гумилев, выйти из строя» – и получил в ответ: «Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев»... А ведь, кажется, гораздо логичнее было бы сделать из Гумилева злодея-террориста, тем более опасного, чем более талантливого.

Однако же хоть и без энтузиазма, но неукоснительно работники «невидимого фронта» выходили на борьбу с Гумилевым. Любопытное свидетельство на этот счет оставил А. Чернов. «Сейчас смешно вспоминать, – пишет он, – но впервые на беседу с их сотрудником я попал из-за Гумилева. В конце 60-х девятиклассником заказал в юношеском зале Ленинской библиотеки его книги и тут же очутился в укромной комнатке по соседству. Очень пытливый молодой человек интересовался: а зачем и для чего мне, комсомольцу, нуж-

ны какие-то "Капитаны" расстрелянного антисоветчика? Беседовали долго. Книг так и не дали. Пришлось заказать две хрестоматии, где Гумилев все-таки был. Позже услышу чью-то шутку: советская власть 70 лет не может простить ему то, что она его расстреляла» (Чернов А. Звездный круг Гумилева // Лит. газета. 1996. 4 сентября. (№ 36 (5618). С. 6).

У советской власти, судя по всему, были здесь серьезные проблемы.

Если бы речь шла только о любителях хранить и читать запрещенные тексты!.. Но дело в том, что в СССР проходили, например... научные конференции, посвященные творчеству Гумилева. С уверенностью можно говорить минимум о четырех – в 1976, 1978, 1979 и 1980 – благо, фрагменты этих «Гумилевских чтений» опубликованы в Wiener slawistischer almanach за 1984 г. Организаторы этих форумов – В.Ю. Порешь, О.А. Охапкин, И.Ф. Мартынов – так формулировали их credo: «Участники "Гумилевских чтений" – люди разных профессий, эстетических и религиозных убеждений. Их объединяет прежде всего бескорыстный интерес к русской поэзии "Серебряного века", признание творческого наследия Гумилева непреходящим фактором отечественной культуры, важным духовным элементом духовной жизни нашего народа» (С. 378). Знакомство же с помещенными в венском альманахе материалами сомнений не оставляет – речь идет именно о *научных* конференциях.

Это – невероятно.



Дело даже не в том, что подобные собрания в «нелегальных» условиях весьма трудно и опасно организовывать. Дело в том, что творчество поэта, наглухо запрещенного даже к упоминанию в любых «легальных» научных трудах, оказывается настолько изученным, что становится возможно *чуть ли не ежегодно проводить научные форумы, т. е. делать доклады, сообщения об архивных находках, представлять публикации и т. п.* Каждый год... При единственном, наглухо засекреченном архиве – в московском ЦГАЛИ!..

Легальных архивов точно не было – зато были частные, создаваемые... просто так. И сколько таких архивов было! Самые знаменитые – собрания П.Н. Лукницкого и Л.В. Горнунга – лишь верхушка айсберга. Автору этих строк в процессе подготовки Полного собрания сочинений Гумилева было суждено познакомиться с некоторыми из них. Могу сказать ответственно – более организованных, полных, текстологически и библиографически корректных материалов, чем в этих «любительских» собраниях, – я не видел никогда. Мотивы подобной, уникальной в истории мирового литературоведения деятельности прекрасно изложил Л.В. Горнунг в письме к П.Н. Лукницкому от 26 апреля 1925 г.: *«До конца Гумилев встает перед нами один и тот же, до конца он по-прежнему живет в своих созданиях <...> верный себе и своему необыкновенно цельному мировоззрению, неутомимый и страстный, мудрый и юный в своей наивности, задумчивый воин и капитан, зовущий к неведомой красоте золотых ост-*

ровов беспокойного и пылающего Духа. И хочется водить караваны, идти и строить на северных утесах веселые золотоглавые храмы, подниматься под самый купол, где мыслит только о прекрасном и вечном упрямый Зодчий, смотреть оттуда на древнее высокое небо, на звезды, и петь вместе с ними о тайнах Мира и о великой к нему любви. <...> Ведь не так уж часто балует нас этим Вечность! Я не жалею, что мне доступна (да и то – доступна ли полностью?) одна только духовная сторона поэта, вне ее земного обличья <...> о котором пусть расскажут, подробнее и лучше, те, кто имел счастье его видеть, и да пребудет на них благословение Мира и Человечества!» (Николай Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 514–515).

**В совокупности же подобные истории и рисуют картину, которую напророчили лермонтовские строки :**

Твой стих, как Божий Дух, носился над толпой  
И, отзыв мыслей благородных,  
Звучал, как колокол на башне вечевой  
Во дни торжеств и бед народных.

# Глава третья

## Поэт в России

### I

Так что же произошло? Почему именно Гумилев, в общем не самый заметный в блистательной плеяде поэтов Серебряного века, занял уже через несколько лет после гибели такое исключительное место в культурной жизни России – тогда как его популярнейшие современники, если и не оказались на периферии читательского внимания, то все-таки не могли конкурировать с его посмертной славой. Ахматова отмечала, например, «бешеное влияние (Гумилева. – Ю. З.) на молодежь (в то время как Брюсов хуже, чем забыт)» (Записные книжки Анны Ахматовой. 1958–1966. Москва-Torino. 1996. С. 624).

Что же там, в гумилевском наследии, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением «его читателей», заставляя одних с неослабевающей за десятилетия яростью каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других – с исповедальным энтузиазмом хранить все, связанное с этим именем, как хранят величайшее достояние, святыню?

Вот вопросы, которые уже примерно с 1960-х годов, когда

советская «гумилевiana» стала очевидным даже для скептиков фактом (и конца ей не предвиделось), превратились из риторики энтузиастов *в проблему для ученых-литературоведов* – сначала зарубежных, а затем, после 1986 года, – и отечественных.

Логика подсказывает, что, отмечая исключительное положение Гумилева в ряду русских писателей XX века, **следует предположить наличие у него каких-то черт, либо отсутствующих у прочих, либо выраженных не столь ярко.** На этот счет к настоящему моменту сложилось четыре версии, которые мы условно можем обозначить как *биографическую, формально-поэтическую, тематическую и идейно-содержательную.*

Ответы, предлагаемые каждой из них, сводятся соответственно к следующим утверждениям.

- Гумилев занимает исключительное место в русской культуре XX века, поскольку его биография резко выделяется среди прочих писательских судеб некоторыми импонирующими современному читателю чертами.

- Гумилев занимает исключительное место в русской культуре XX века, поскольку является непревзойденным мастером стиха, выразившим в возможной полноте специфические особенности новейшего российского поэтического языка.

- Гумилев занимает исключительное место в русской

культуре XX века, поскольку его тематика (прежде всего экзотического толка) не имеет аналогов в современном русском искусстве.

- Гумилев занимает исключительное место в русской культуре XX века, поскольку его поэтическое мировоззрение содержит элементы, отсутствующие или слабо выраженные в русском искусстве нашей эпохи, но жизненно необходимые для позитивного самосознания читателя.

Аргументы в пользу каждой версии мы должны рассмотреть, но прежде всего следует отметить, что три первых всегда возникают *при изначальном отрицании четвертой*, собственно – *как прямое следствие подобного отрицания*. Дело в том, что целый ряд мемуаристов и исследователей, не отрицая наличия «феномена Гумилева», все же уверены: покойный поэт был, выражаясь корректно... *не совсем умным человеком*. Вариант: *наивным*. Еще вариант: *не очень образованным*. Еще вариант: *не интересующимся ничем, кроме формальных аспектов теории искусства*. В подтверждение приводятся достаточно серьезные аргументы, заключенные, как правило, в свидетельствах авторитетных современников Гумилева.

*В.Ф. Ходасевич*: «Он был удивительно молод душой, а, может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же

ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец – в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улечивалась, пока он не спохватывался и не надевал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 205).

*Э.Ф. Голлербах:* «Упрекали его в позерстве, в чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет. Любовь, смерть и стихи. В шестнадцать лет мы знаем, что это прекраснее всего на свете. Потом – забываем: дела, делишки, мелочи повседневной жизни убивают романтические “фантазии”. Забываем. Но он не забыл, не забывал всю жизнь. Из-за деревьев порой не видел леса: стихи заслоняли поэзию, стихи были для него дороже, чем поэзия. Он делал их, – мастерил» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 15).

*Н.М. Волковысский:* «...В сущности, кроме поэзии его ничего не интересовало по-настоящему. По всем самым острым вопросам жизни он скользил рассеянным взглядом: общественность, политика, гражданская война, удушье окружающего – все это как-то мало его задевало» (Николай Гумилев: pro et contra. СПб., 1995. С. 337 (“Русский путь”)).

*А.А. Блок:* «...Н. Гумилев и некоторые другие “акмеисты”, несомненно даровитые, топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они

спят непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: душу» (*Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. М. – Л., Т. 6. 1962. С. 184*).

Из всего этого и следует: не великого ума муж был Николай Степанович, а посему никаких особых истин-откровений в его произведениях ожидать не приходится.

## II

«...Он (Гумилев. – Ю. З.) был замечательный человек, я только теперь понял, – говорил Осип Мандельштам Ирине Одоевцевой в 1922 году. – При его жизни он как-то мешал мне жить, давил меня. Я был несправедлив к нему. Не к его стихам, а к нему самому. *Он был гораздо больше и значительнее своих стихов*» (*Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 1988. С. 162–163*). Это-то и значит: личность Гумилева, жизнь его и тем более его смерть настолько поразили русских (и прочих) читателей, что какую бы ерунду он ни писал – тем более что даром бойкой стихотворной речи был одарен, несомненно, – все встречалось читателями «на ура», не потому что стихи были очень уж хороши, а потому, что это были стихи *Гумилева*.

Насколько это соответствует реальному положению ве-

щей?

«Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь, – пишет А.И. Павловский. – Он мечтал об экзотических странах – и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы – и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря – и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник» (Павловский А.И. И терн сопутствует венцу... // Гумилев Н.С. Капитаны. Н. Новгород, 1991. С. 6–7).

Спорить с этим не то чтобы нельзя, но как-то не хочется: жизнь, чего там говорить, получилась не самая скучная.

За что бы он ни взялся – порой весьма далеко отстоящее от поэзии, – *все удается*. Самые дикие, безнадежные предприятия – вроде попытки издания в 1907 году в Париже (!) литературно-художественного модернистского журнала (!! ) на русском языке (!!!), – обращаются его усилиями в нечто оригинально-значительное. И дело не только в том, что три тощих тома «Сириуса» ныне – украшение крупнейших библиотек и гордость коллекционеров-библиофилов, но и в том, что детище Гумилева не забыто и историками литературы: о «Сириусе» пишут статьи – и правильно делают, ибо за трогательными розовыми корочками этого полудетского журнала отчетливо видны классические очертания великого



и непревзойденного маковско-гумилевского «Аполлона».

А в 1913 году Николаю Степановичу вдруг захотелось организовать этнографическую экспедицию Российской академии наук в Северо-Восточную Африку. Правда, была маленькая загвоздка – к Академии наук, тем более к ее географическому отделу, Гумилев никакого отношения не имел. Он был студентом филологического факультета Университета. Но это не беда, через сравнительно небольшой период времени Гумилев уже плыл за академический счет к берегам Эфиопии, правда, оставаясь безутешным оттого, что его самая заветная мечта – присоединение к России (или хотя бы «к семье цивилизованных народов») одного особо полюбившегося ему племени данакилей, что жило по нижнему течению реки Гаваш, – была все-таки вежливо отклонена Академией. Деньги и соответствующие документы были даны лишь на сбор этнографических коллекций, что Гумилев и осуществил, заполнив экспонатами витрины одного из африканских залов нынешней Кунсткамеры. Сейчас некоторые горячие головы говорят о сопоставимости его коллекции с коллекциями Миклухо-Маклая, что, конечно, неправильно. Хотя бы потому, что Миклухо-Маклай посвятил жизнь этнографии, а Гумилев работал здесь – хотя и не без блеска – в общем, как дилетант, «по совместительству» с поэтическим творчеством:

Есть музей этнографии в городе этом,

Над широкой, как Нил, многоводной Невой —  
В час, когда я устану быть только поэтом,  
Ничего не найду я желанней его.

О, он мог позволить себе *"устать быть только поэтом"* — уж больно интересные вещи удавались ему и помимо поэзии!

Он обладает необыкновенным даром организатора. Люди идут за ним охотно, чувствуя мощную энергетическую силу (пассионарность, как позже будет говорить его сын, великий ученый Л.Н. Гумилев), от него исходящую. Он это знает — и в мечтах своих видит себя далеко не «только поэтом». Его деятельность распространяется далеко за пределы *только его творчества*: среди созвездия художников этой эпохи лишь двое такого же, как и он, масштаба — Мережковский и Горький — выполняют подобную *организующую* роль. «Этот большой поэт и замечательный учитель оказал громадное влияние на всю петербургскую молодежь, — писал Л. Лунц. — Он не был узким фанатиком, каким его любили выставлять представители других поэтических течений. Он, как никто, вытравливал из ученика все пошлое, но никогда не навязывал ему свою волю» (*Лунц Л.* Неопубликованная статья для второго номера газеты «Ирида». Архив А.Г. Фомина; сообщено В.Н. Вороновичем).

Скажем более: *жизнь Гумилева* являет для историка литературы весьма *большой соблазн* — соблазн, так сказать, *чи-*

того биографизма. Наглядный пример тому – интересная, прекрасно изданная, богато иллюстрированная книга В.В. Бронгулеева «Посредине странствия земного: Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Годы 1886–1913», вышедшая в Москве в 1995 году. Читается книга на одном дыхании, однако по мере углубления в нее вдруг ловишь себя на мысли, что собственно о *творчестве* Гумилева речи не то чтобы не ведется, но – постольку лишь, поскольку результаты сего творчества осмысляются автором как биографические документы, не больше. *В конце концов оказывается, что главным «произведением» Гумилева, его chef-d'oeuvre'ом, явилась... собственная биография.* Строки из знаменитого письма Гумилева к В.Н. Аренс: «Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создает поэму?» – восприняты В.В. Бронгулеевым буквально.

Не берусь решать, плохо это или хорошо – победителей не судят. Для нашего разговора гораздо важнее понять, только ли жизнь Гумилева среди художников Серебряного века (или даже шире – среди писательских судеб вообще) таит в себе соблазны «чистого биографизма»?

Конечно, нет.

Действительно, жизнь *любого* человека, будучи изученной в своих биографических, психологических и, далее, в своих метафизических глубинах, явит собой в конце концов нечто весьма поучительное и уж, конечно, захватыва-

ющее, — тем более жизнь человека, сколь-нибудь замечательного. Грех увлечения биографической стороной предмета исследования, пожалуй, один из «смертных» и неискоренимых в любой сфере литературоведения, и целомудренно-скромное гумилевоведение здесь просто теряется перед могучим «биографизмом», например, некоторых современных пушкиноведов, рассказывающих о своем «подопечном» подлинно *все*, так что человек-Пушкин оказывается известен нам в таких проявлениях, которые неизвестны самой злостной бабушке-сплетнице о своем беспутном соседе. Автор эти строк видел, например, своими глазами пространную, занявшую два или более подвала в популярной петербургской газете «Смена», статью, создатель которой умудрился *ни разу внятно не процитировать ни одной строки пушкинских произведений*, занятый решением гораздо более захватывающего вопроса: хотел Пушкин отстрелить Дантесу половой член или не хотел? (Искать источник принципиально не хочу, но гарантирую наличие такого «пушкиноведческого» опуса своим честным словом; кому не лень — тот может пролистать подшивку «Смены» за октябрь 1997 г.)

Может быть, в жизни Гумилева было действительно *нечто из ряда вон выходящее*, такое, что, выражаясь современным языком, достойно быть занесено в книгу рекордов Гиннеса? Здесь уместно вспомнить мнение самого Гумилева: «Я буду говорить откровенно: в жизни у меня пока три заслуги — мои стихи, мои путешествия и <...> война» (пись-

мо к М.Л. Лозинскому, январь 1915). «Стихи», впрочем, как понятно, в избранном нами контексте приходится отбросить, зато к оставшимся «заслугам» мы безоговорочно добавляем еще одну: участие в заговоре и трагическую гибель в августе 1921 г., тридцати пяти лет от роду. Насколько все это могло актуализировать судьбу поэта в глазах современников и потомков?

То, что Гумилев неоднократно совершал путешествия, конечно, является большим «плюсом» в глазах его читателей, особенно советских, истосковавшихся по дальним странам за непрошибаемым «железным занавесом». Однако, во-первых, далеко *не один Гумилев совершал дальние поездки*, другие русские писатели также не были домоседами, забираясь подчас в такие экзотические дебри, о которых Николаю Степановичу приходилось только мечтать. Чехов, к примеру, побывал на Яве, Горький, Маяковский и Есенин – в Америке, Гончаров с Бальмонтом – и вовсе совершили кругосветные путешествия. В Африку буквально «по следам Гумилева» отправился В.И. Нарбут. В Европу же из русских классиков не ездил только ленивый (или «невыездной», подобно А.С. Пушкину, но это в те времена – исключение). Никто из них тайны из своих путешествий не делал, напротив, описывали их обильно и красочно, в художественном роде и, параллельно, в эпистолярных.

«Гумилев с его страстным интересом к далеким странствиям предстает (в многочисленных биографических свод-

ках. – Ю. З.) одиночкой, – писал исследователь гумилевских путешествий Аполлон Давидсон. – Получается как бы, что это резко отделяло его от тогдашних литераторов, что он со своей страстью вообще был уникален среди соотечественников-современников. <...> Гумилев не был одиночкой. Выражаясь казенно литературоведческим языком, он был лишь наиболее ярким представителем определенного направления творческих поисков интеллигенции начала нашего столетия» (Давидсон А. Муза Странствий Николая Гумилева. М., 1992. С. 265, 277). Вывод этот подкреплён большим количеством документальных свидетельств конца XIX – начала XX века. Из сказанного следует: потрясти русских читателей *самим фактом экзотического путешествия* было нельзя. Удивить – да. Заинтересовать – без сомнения. Вызвать ироническую, хотя и беззлобную улыбку – вполне. Но потрясти так, чтобы наличие *самого факта путешествия* в твоей судьбе делало тебя в их глазах настолько значительным существом, что все мыслимые творческие огрехи и самая тупость мышления раз и навсегда получали от читательской аудитории индульгенцию, – невозможно.

Почти то же самое можно сказать и о «военном эпизоде» в жизни Гумилева. Далеко не один Гумилев носил военную форму. Если мы посмотрим на историю русской литературы XX века, то, несомненно, придем к заключению, что здесь писатель в шинели – явление типическое, причем не только в СССР, но и в «зарубежье». Воевали все – Шо-

лохов, Солженицын, Симонов, Твардовский, Тихонов, Адамович, Оцуп, Ладинский, Корвин-Пиотровский... и сколько еще! На этом фоне фигура Гумилева в форменной военной куртке с двумя Георгиями внушает, безусловно, уважение, почтение, особое понимание у тех, кто сам прошел через боевое крещение на передовой («Могу засвидетельствовать: все здесь достоверно и правдоподобно», – писал о «Записках кавалериста» Герой Советского Союза, в прошлом – армейский разведчик В.В. Карпов (см.: *Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы*. Л., 1988. С. 71 (Б-ка поэта. Большая сер.)), но никак не возгласы удивления. Да и вообще, армейская закваска отнюдь не чужда русскому литератору, благо, примеры Державина, Лермонтова, Достоевского и Л.Н. Толстого всегда перед глазами.

О гибели Гумилева нужно поговорить особо.

«Удивительно, что ранняя насильственная смерть дала толчок к расширению поэтической славы Гумилева, – писал Г.В. Адамович. – Никогда при жизни Гумилева его книги не имели большого распространения. Никогда Гумилев не был популярен. В стихах его все единоголосно признавали большие достоинства, но считали их холодными, искусственными. Гумилев имел учеников, последователей, но проникнуть в широкую публику ему не давали, и, по-видимому, он этим тяготился. Он хотел известности громкой, влияния неограниченного. И вот это совершается сейчас, – может быть, не в тех размерах, как Гумилев мечтал, но совершается (писано в

1929 году, в эмиграции. – Ю. З.). Имя Гумилева стало славным. Стихи его читаются не одними литературными специалистами или поэтами; их читает "рядовой читатель" и приучается любить эти стихи – мужественные, умные, стройные, благородные, человеческие – в лучшем смысле этого слова» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 244).

В самом *факте посмертного признания* ничего необыкновенного для истории как русской, так и мировой литературы нет. Более того, это скорее более органичное обстоятельство творческого пути подлинно великого художника, как правило, далеко обгоняющего интеллектуальный и нравственный уровень современных ему читателей, угадывающего многое, что для взгляда «профанов» оказывается в тот момент скрыто и потому в полной мере могущего быть оцененным только лишь в более или менее далеком будущем. Так, читатели 40-х годов XIX века открывали для себя Пушкина, а их потомки 80-х – Достоевского. И напротив, громкий прижизненный успех никогда не являлся прочной гарантией такого же успеха у потомков – судьбы наследия Бенедиктова или Надсона тому пример.

Не вызывает возражений, к нашему глубокому огорчению, и то, что «ранний насильственный (или вообще – трагический) конец» является *ожидаемым* читателями итогом биографии любого *подлинного* русского писателя, тем более *русского поэта*.



По слову Мережковского, писавшего после смерти Надсона:

Поэты на Руси не любят долго жить:  
Они проносятся мгновенным метеором,  
Они торопятся свой факел потушить,  
Подавленные тьмой, и рабством, и позором.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.